
18+
ДМИТРИЙ ГАНИН
ЗОЛОТО ВЕЧНОСТИ
роман

Дмитрий Ганин

Золото вечности

«Издательские решения»

Ганин Д. А.

Золото вечности / Д. А. Ганин — «Издательские решения»,

«Золото вечности» — роман о цене тайны, которую хранят сорок лет, и о цене чуда, которое нельзя показать. В его центре — не погоня и не расследование, а вопрос, который старше Кёльна XIV века: что происходит с человеком, который умеет откладывать смерть?

© Ганин Д. А.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ 6
❦ 7
❦ 9
❦ 12
❦ 15
❦ 18
❦ 21
❦ 25
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Золото вечности

Дмитрий Анатольевич Ганин

© Дмитрий Анатольевич Ганин, 2026

ISBN 978-5-0071-5790-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Золото вечности» — роман о цене тайны, которую хранят сорок лет, и о цене чуда, которое нельзя показать. В его центре — не погоня и не расследование, а вопрос, который старше Кёльна XIV века: что происходит с человеком, который умеет откладывать смерть? Бессмертие здесь — не награда и не мечта, а сделка, за которую платят не покупатель и не продавец, а все вокруг. Книга о том, что тайна, спрятанная от мира, незаметно прячется и от тех, кто её хранит: братья по ремеслу перестают быть семьёй и становятся мастерской, где каждый — инструмент. И о том, что счёт — уголь, капли, мёртвые старики — в итоге всегда сводится к одному числу: сколько стоит жизнь. Это история о правиле одной комнаты — говорить вслух то, что видишь, — и о том, что даже в мире, где смерть можно отложить на три капли, человеческое остаётся тем, что нельзя выварить ни в какой реторте.

ПРОЛОГ

Кёльн, октябрь 1316 года

Костёр поставили на Рыночной площади рано утром, чтобы к полудню всё было кончено и народ мог расходиться по делам.

Алхимика звали Хенрих фон Мерлау. Свидетелей его делинкта не нашлось, зато нашлись предметы: свинцовый прут, наполовину пожелтевший, и склянка с красной жидкостью, «от которой, по его словам, стареющий человек становится снова юным». Свинец выставили на помосте — когда-то он лежал в мундиальной печи, теперь лежал на солнце, и очередь из горожан ходила мимо него, как мимо чудотворной иконы, и подносила палец к желтизне на пруте. Желтизна не сходила.

Толпа собралась злая. Не потому, что ненавидела алхимию, — а потому, что на площади стоял осенний холод, а костёр обещал быть большим.

Хенриха вели босиком. Он падал дважды: второй раз — перед помостом, и его поднимали под руки двое, и в этот миг его глаза нашли в толпе единственное знакомое лицо — смеющегося оборванного мальчишку лет двенадцати, своего вчерашнего осведомителя. Мальчишка получил за донесение три пфеннига и кусок колбасы и теперь стоял с колбасой в руке.

Хенрих не сказал ничего дурного о мальчишке. Он вообще почти не говорил. В последний момент — когда верёвку уже намотали на шею, прежде чем стянуть её к столбу, — он вдруг рванулся и крикнул так громко, что его услышали в третьих рядах:

— Он нашёл его! Понимаете? Он нашёл его, он ПРАВ!

Что он «нашёл» и кто «прав» — толпа не разобрала, а те, кто разобрал, сделали вид, что не слышат. Инквизитор Энгельберт фон Тринхайм, сидевший поодаль на сервированной каменице, заметил только, как двое горожан переглянулись и один из них украдкой перекрестился не на самого осуждённого, а на нечто в сторону северных ворот — туда, где за крепостной стеной начинались кварталы бедноты.

Энгельберт помнил этот взгляд семь лет. Он не знал, что вспоминает его всю оставшуюся жизнь.

К вечеру площадь вымыли. Свинцовый прут в верёвках и цепях унесли в церковную казну — как вещдок ереси. Красной склянки к вечеру не было: она исчезла с помоста между полуднем и вечерней, и никто не смог сказать, кто из восьми человек, находившихся в тот час на площади, дотронулся до неё.

А в квартале за северными воротами, в доме под солеварней, магистр Бертольд в эту самую ночь варил то, что Хенрих фон Мерлау называл своим «найденным», — и голосовал это ещё одно десятилетие: девять лет труда, чтобы получить три капли.

Три капли. Столько стоит одна жизнь.

#

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДОЛГОВАЯ ЯМА

Иону продали как тряпичника, а забрали как алхимика — так вышло само собой, без злого умысла с любой из сторон.

Он родился в Гельдерне в семье, у которой была одна корова и два мнения о каждом предмете, — и в четырнадцать лет узнал, что оба мнения совпадали в том, что лишний рот надо где-то содержать. Так он оказался в Кёльне, в долговой яме с потолком из серых балок и с глиняной печкой, которая жарила только в одну сторону — на кошель тюремщика. Долг был одиннадцать гульденов: три — за проезд, восемь — за то, что в первый же месяц Иона украл у ночного сторожа бутылку рейнского и выпил её один, против всех правил приключений.

Восемь гульденов в долговой яме отрабатывают примерно четыре года. Иона отработал два — когда в ноябре 1316 года (точную дату он потом так и не вспомнил) снизу до него долетел голос:

— Хозяин говорит: этот. Который писал бы.

— Он не пишет, — лениво отозвался надзиратель. — Он тряпичник.

— Тогда пусть научится. У него две недели на испытание, и плата — долг сгорает.

Так Иона оказался в лаборатории под солеварней. Печь, кованые щипцы, наковальня, ряды пузырей с жидкостями семи цветов — он не знал ни одного названия. Магистр Бертольд был высок, сед, суров и разговаривал как человек, у которого язык прирос к зубам от десяти лет молчания. Первое, что он сказал Ионе, было:

— Ты умеешь считать?

— До сорока, — сказал Иона.

— До сорока хватит, — сказал Бертольд. — Больше здесь не бывает нужды. Считать придётся капли.

Иона ждал, что его посадят таскать уголь. Вместо этого Бертольд сел напротив и положил на стол кусок пергамента с рядами знаков — крестов, кружков, греческих букв, маленьких облаков с хвостиками.

— Это не буквы, — сказал Бертольд. — Это имена вещей, которые нельзя называть вслух. Ты будешь переписывать. Рука у тебя дрожит?

— Нет, — сказал Иона.

— А голос?

— Голос?

— Когда ты читаешь, — Бертольд смотрел на него так, как смотрят в скважину, — тебе не хочется прочесть вслух то, чего не понимаешь? Проговорить, как поп?

Иона, помолчав, сказал:

— Хочется.

— Тогда научись молчать раньше, чем научишься читать. Иначе из тебя выйдет не писец, а свидетель.

Через месяц Иона переписал тридцать один свиток. Он понимал в них примерно одно из двадцати слов и обнаружил, что это — самое блаженное состояние, какое он знал: быть среди тайны, не неся за неё ответа.

На исходе второго месяца — в ночь накануне Нового года — Бертольд отпустил надзирателя и сказал Ионе, что долг тот сгорел. Потом достал из-под печи, где держал прохладным, маленькую склянку в восковом чехле, поднял к свечке и сказал:

— Видишь? Это была его кровь. Хенриха. Того, что сейчас видишь — то есть не видишь, — на помосте. Я купил её у палача за двенадцать гульденов. В ней — полторы капли того, что он называл «нашёл».

— Что это было? — спросил Иона.

— Красный лев, — сказал Бертольд. — Первая ступень Великого Делания. То, из чего делают всё остальное. Он был первый в Кёльне, кто дошёл до неё в одиночку и выжил. — Бертольд поставил склянку обратно под печь. — Он выжил девять дней. Потом его нашли.

Иона хотел спросить «кто нашёл» — и не спросил. В эту ночь он впервые понял, что лаборатория под солеварней — не мастерская и не учёный дом. Это убежище. Убежище с одной дверью, которую открывают только изнутри, и с одним правилом, о котором Бертольд сказал ему в конце той же ночи, глядя ему прямо в глаза:

— Здесь есть пять человек. Тебе с сегодняшнего дня — шестой. Пятый — тот, кого ты пока не знаешь, и кого лучше не знать до поры. Запомни одно: то, что мы варим, — не золото. Золото нам не нужно. Мы делаем то, за что Хенриха сожгли, — но доводим до конца. А доведя до конца, — Бертольд вдруг заговорил так, как если бы сорок лет молчания вдруг прорвало, — мы не умрём, Иона. Никто из нас.

Иона не смог ответить. Он не был уверен, что слышал это наяву.

#

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЯТЬ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ

Канонника звали Годфрид, и он был из тех людей, о которых говорят «он вышел в отставку», когда имеют в виду «его вывели».

Когда-то он был капелланом при дворе графа Юлихского, двадцать лет переписывал письма с латинского на немецкий и обратно, и однажды перевёл в обратную сторону слово, которое переводить было нельзя. Граф простил. Архиепископ — нет. Годфрид снял рясу сам, раньше, чем её сняли бы с него, и с тех пор жил на самом краю квартала за солеварней, в двух комнатах, из которых одна была битком набита бумагой, а вторая — тем, что бумаге полагается.

Бертольд привёл Иону к нему в канун Богоявления. Стучали трижды, пауза, потом дважды — Ионе это уже не показалось странным, он за два месяца у атанора успел выучить, что здесь всё делается трижды и дважды и никогда просто так.

— Он считается? — спросил Годфрид, глядя на Иону поверх очков, которых в этом веке ещё не придумали, но которые Годфрид почему-то носил.

— Считается, — сказал Бертольд.

— Тогда пусть войдёт. Кофе не предложу — его тут нет, и это к лучшему: от него шум в голове, а шум здесь мешает.

Годфрид оказался первым человеком за два месяца, который сказал Ионе больше двадцати слов подряд. Он говорил о бумаге, о ценах на пергамент, о том, что для переписи «Розариума» Арнальда лучше брать телячью кожу, а не баранью, потому что бараний пергамент к лету желтеет, и Иона вдруг понял, что скучал по человеческой речи, как по мясу.

Вторым был переписчик, и вот его Иона узнал сразу — не лицом, а запахом.

Его звали Тило, ему было лет двадцать пять, и пахло от него чернилами так сильно, что казалось: кровь у него разведена на галловых чернилах. Он сидел в углу и переписывал что-то мелким ровным почерком, и почерк этот был так хорош, что Иона понял раньше, чем ему объяснили: Тило зарабатывал подделкой документов. Он писал грамоты, индульгенции, вольные письма для крепостных, которые сбегали на юг, — и писал их так, что канцеляристы в Трире готовы были поклясться, что бумагу держал сам нотариус.

— Он немой? — спросил Иона у Годфрида.

— Нет, — сказал Годфрид. — Он боится своего голоса. У него голос пишется лучше, чем звучит. Спроси его о чём-нибудь на бумаге — получишь ответ размером с проповедь. Спроси вслух — получишь кивок.

Марта пришла последней, через час, и вошла без стука — по тому, как оглянулись остальные, Иона понял, что право входить без стука здесь на неё уже кто-то потратил.

Ей было за пятьдесят, она была вдовой пивовара с Винной улицы и вдовой, судя по всему, давно и удобным образом: пиво после мужа пошло хуже, а вот травы — лучше. В квартале за солеварней её звали по-разному. Женщины, у которых не шли дети, звали её «тётя Марта». Церковный проповедник на площади Стефана звал её «ведьмой» — правда, тихо, и всегда, надо отдать ему должное, когда Марта не слышала. Годфрид звал её «мой лучший аптекарь». Бертольд звал её «наша рука».

— Новенький, — сказала она Ионе. Она смотрела на него так, как смотрят на мясо, решая, какой кусок вырезать первым. — Давно?

— Два месяца.

— И что ты уже понял про печь?

— Что она пахнет не свинцом, — сказал Иона. — Я подумал, что мне мерещится.

Марта перестала смотреть на него как на мясо.

— Скажи это Бертольду при мне, — сказала она. — Говори всегда так. Говори вслух то, что видишь, — и ты доживёшь до сорока, что для шестого человека в этой комнате — хорошая надежда.

Первое собрание началось в полночь, вокруг атанора, и Иона впервые увидел, как выглядят «псалмы-шифры», о которых шепнул ему Бертольд.

Годфрид открыл Книгу Псалмов — настоящую, церковную, с потёртой обложкой — и начал читать вслух Сладостный псалом. Но читал он его по-особенному: пропуская каждую четвёртую строку, а на месте пропущенных делая паузу. И в эти паузы Бертольд — так, словно продолжал мысль псалма, — произносил фразы на латыни, вперемешку с греческим и с тем самым «языком облаков с хвостиками», который Иона переписывал два месяца.

Это был шифр. Вся служба — шифр: гласные псалма несли бессмыслицу, паузы несли правду. Любой, кто подсмотрит или подслушает, услышит вечернее чтение. Никто не услышит — того, что шло в паузах.

В середине службы Тило встал, подошёл к столу и положил на него новый пергамент — чистый. Годфрид оборвал псалом на середине — что само по себе было страшно, если ты верующий, — и сказал вслух, обычной человеческой речью, единственную фразу за весь вечер, которой в шифре не было места:

— Брат Иона. Ты держишь в руках пергамент, за который в Трире дают пять гульденов. Через год — если мы доживём до года — ты будешь держать в руках пергамент, за который дают эшафот. Одно и то же дело, разница — в том, что на нём написано. Ты понимаешь, почему Хенриха фон Мерлау сожгли не за то, что он варил, а за то, что он продал?

Иона сказал честно:

— Нет.

— Хорошо, — сказал Годфрид. — Если бы ты сказал «да», я бы насторожился. Скажи теперь вот что: как думаешь, что он продал?

Иона вспомнил красный прут на помосте, очередь горожан, палец, дотрагивающийся до желтизны. Вспомнил склянку, которая исчезла между полуднем и вечерней.

— Он продал показ, — сказал Иона. — Ему надо было не золото. Ему надо было, чтобы это увидели.

Марта из тени сказала:

— Правильно. Запомни, что сказал мальчик.

А потом Бертольд наклонился к атанору, снял крышку, и все пятеро — впервые за вечер — наклонились одновременно, как наклоняются к колыбели.

В печи было что-то красное. Не огонь. Огонь и рядом не стоял: огонь — жёлтый, злой, живой. Это было красное и тёплое, как кровь, и оно не двигалось — просто стояло в самой глубине, где уголь уже выгорел, и светило ровно, без дрожи.

— Первая ступень, — тихо сказал Бертольд. — Красный лев. То, что было у Хенриха. То, что он позволил себе показать городу.

— И город его за это сжёг, — сказал Годфрид.

— И город его за это сожжёт нас, — сказал Бертольд. — Если мы будем действовать как он. Он показал — и умер. Мы не покажем — и, если Господь смилостивится, не умрём. Работа начинается, брат Иона. Кофе здесь нет, зато есть бессонница, и она бесплатная.

Иона смеялся потом, спустя годы, вспоминая, что первую шутку в этой комнате сказал не самородок-канонник и не хитрая вдова-травница, а старый молчун Бертольд. Но в ту ночь он не засмеялся. Он смотрел в печь на красное, неподвижное, тёплое — и думал о том, что где-то в двух кварталах отсюда, в церковной казне, в верёвках и цепях, лежит свинцовый прут, на который горожане ходили смотреть, как на икону.

И что тот, кто выходил за склянкой в тот вечер с площади, — возможно, тоже был из этих пяти.

Или был из тех, кто их искал.

# #
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЗАПАХ

Печь пахла не свинцом. Иона понял это в первый же рабочий день — а понял по-настоящему только тогда, когда понял, что молчать об этом можно, а жить с этим — нельзя.

Работа у атанора была устроена так. Бертольд не разрешал Ионе варить. «Сначала руки, потом глаз, потом ум, — говорил он. — Руки возят уголь и чистят реторты. Глаз — учится видеть цвет. Ум приходит последним, и его приход никто не заказывает». Пять дней в неделю Иона таскал уголь из подвального хода, который вёл к северной стене солеварни, промывал реторты в бочках с зольной водой, толок в ступе мергель и слушал.

Слушать было чему. Бертольд работал молча, но его молчание говорило: если магистр отходил от печи на два шага — шаги шли ровно, всё шло по плану. Если магистр вставал в третьем шаге и возвращался — в реторте начиналось то, чего он ждал или чего боялся, и Иона учился различать по звуку: кипит, шипит, трещит, «поёт». «Поёт» было лучше всего: это значило, что масса достигла той стадии, когда плавится сама собой, как воск.

Марта приходила по средам и субботам, приносила травы и то, что называла «гостинцами из-под земли»: ртуть, сера, купорос, — всё это добывалось или покупалось так, чтобы след обрывался на третьем человеке. Она же варила Ионе отвар «от бодрости», потому что он недосыпал, и отвар «от гордости», потому что, по её словам, «гордость у тебя идёт с солодовым запахом, я её чую за две комнаты».

Годфрид приходил, когда приходили новые бумаги. Тило не приходил вовсе — он жил в лаборатории, в нише за стеллажом, где стоял топчан, свеча и сорок переплетённых тетрадей. Тило не говорил. Он писал. У него была такая система: если кто-нибудь из пятерых хотел сказать что-то, что нельзя было сказать вслух даже здесь, он писал это на узкой полоске бумаги, свёртывал полоску в трубочку и опускал в керамическую чашу у входа. Каждое утро Тило вынимал трубочки, читал, отвечал таким же способом. Иона в первый месяц не понимал, зачем это, — пока не увидел, как Бертольд сам, ни слова не говоря, опустил в чашу трубочку.

На узкой полоске, под разворотом, было написано: «Уголь на этой неделе куплен у человека, который продавал уголь Хенриху».

Так начиналась третья глава истории — та, которую потом будут называть «запахом».

Запах был такой. Атанор пах в первые часы варки горелой глиной, потом — мокрым камнем, потом — тем, что Иона не мог назвать. Не сера, не ртуть, не жжёный рог. Что-то среднее между палёным хлебом и кровью из носа. Он не сразу обратил внимание — пока не заметил, что Бертольд, входя в лабораторию, всегда останавливался на пороге и дышал три раза. Как лошадь у конюшни, которая чует волка.

На исходе первой недели февраля, в сумерки, Иона задал вопрос — тот, который Бертольд запрещал задавать раньше срока:

— Магистр. Печь пахнет не свинцом. Что в ней?

Бертольд не оборвал работу. Он вытащил щипцами пробирную ложечку, дал остыть, посмотрел на цвет, положил ложечку на полку — всё это ровно и медленно, как всегда. И только потом сказал, не оборачиваясь:

— Ты прав. И неправ. Прав — что не свинец. Неправ — что «что». В печи — соль. Соль из флегмы Хенриха. Помнишь, я говорил тебе про кровь? Кровь была только перенос. Главное было в ней — масло. Красное масло, которое не смешивается с кровью и лежит в ней, как луна в колодце. Я его извлёк этой осенью. И оно — вот оно, — он кивнул на печь, — в огне оно живёт дольше, чем все, кто его варил.

— Оно горит?

— Оно не горит, — сказал Бертольд. — Оно светит. Горит — то, что имеет конец. Это не имеет.

Иона молчал. Потом сказал:

— И Хенрих из-за этого сгорел.

— Хенрих сгорел из-за того, что показал прут, — сказал Бертольд. — Прут — это крошка. Труха. Отход. Он думал: если покажу кусочек — поверят в целое. Город поверил. Город ещё и увидел, что это работает. А то, что работает и работает на продажу, — уже не тайна. А то, что не тайна, — уже ересь, потому что церковь не может позволить, чтобы бессмертие продавали за деньги. Понимаешь? Это не вера. Это налоговая книга. Бессмертие — единственный товар, который нельзя обложить десятиной, и потому его нельзя разрешить.

Теперь Иона молчал дольше. Потом спросил — и не про то, что собирался.

— Магистр. А зачем Хенрих кричал на помосте — «он нашёл его»?

Бертольд впервые за разговор повернулся к нему. И Иона увидел в его лице не страх и не гнев — усталость семидесятилетнего человека, который сорок лет тащил на плечах нечто, о чём нельзя рассказать даже тому, кто спит рядом.

— Он кричал «прав», — сказал Бертольд. — Не «он прав». «Он ПРАВ». Это ты поймёшь позже. Или не поймёшь. Ложись, Иона. Завтра реторты.

Ошибку Иона совершил на следующей неделе, и она была такой, какой делают все: по невниманию, в усталости, в последний час перед тем, как Бертольд отпускал его наверх.

Он вынес реторты на промывку к бочкам. Нес их связкой, четыре штуки, завернув в мешковину. На повороте подвального хода, у ступеней, которые вели наверх, он споткнулся — мешковина зацепилась за торчащий гвоздь, — и реторты ударились друг о друга. Не разбились. Но из одной — той, что была с осадком, — на каменный пол выплеснулось несколько капель красноватой жидкости.

Иона этого не видел. Он шёл дальше. А когда через час вернулся промывать вторую связку — на полу, там, где капли, лежали две мыши. Мёртвые. Обе мордочками к стене, как будто бежали от чего-то и не успели.

Он стоял над ними, наверное, минуту. Потом сделал то, что велела бы ему все пять, — сделал бы правильно, немедленно, без сомнения: смыть водой, залить зольной щёлочью, замести, молчать. Вместо этого Иона сделал то, что делал всю жизнь, — то, за что Бертольд его и взял.

Он сходил к Годфриду и сказал вслух.

Годфрид выслушал, не перебивая. Потом встал, поднял с полки свечу и сказал:

— Пойдём покажем Марте. А потом — Бертольду. И запомни, брат Иона: ты сделал сегодня вещь, которую в мирное время называют глупостью, а в военное — доблестью. Здесь, брат, военное время. Просто многие его ещё не заметили.

Марта пришла к мыши первой — по-хозяйски, с глиняной плошкой. Она осмотрела зверьков, тронула их пальцем, поднесла палец к носу и сделала лицо, какого Иона у неё ещё не видел: лицо человека, который узнал запах знакомого покойника в чужом доме.

— Не мгновенно, — сказала она. — Смотри: они бежали. Они услышали, почуяли и бежали, а умерли в беге, в трёх шагах. Значит, вещь убивает не сразу, а через четверть часа. Значит, доза в трёх каплях — смертельна для мыши. Значит… — она замолчала, и Иона увидел, как у неё шевельнулись губы, будто она считала в уме что-то, что считать вслух не собиралась.

— Значит — что? — спросил он.

— Значит, что Бертольд месяц варит то, о чём не рассказал даже Годфриду, — сказала Марта. — И что если ты пойдёшь к нему с этой мышью сейчас, он скажет тебе: «спасибо». И это будет последнее «спасибо» за месяц. Потому что ты сегодня стал тем, кто знает.

Она поднялась, отряхнула колени и сказала тихо, как говорят в церкви:

— Иди, брат. И помни — правило нашей комнаты: говорить вслух то, что видишь. Ты сделал правильно. Просто завтра тебе будет за это страшно, и это тоже правильно.

Бертольд слушал рассказ Ионы молча, стоя у печи. Когда Иона дошёл до мышей, магистр снял рукавицу и медленно повёл ладонью над атанором — на высоте ладони, на расстоянии ладони от глины. Иона смотрел на эту руку и не мог понять, что она чувствует — жар или что-то ещё. Потом Бертольд опустил ладонь, снял с полки пробирную ложечку, посмотрел на цвет в ней — и положил обратно.

— Скажи Марте, что она права, — сказал он. — И что она ошибается. Права — что мыши бегут. Ошибается — что доза в трёх каплях смертельна. Доза в трёх каплях смертельна для мыши, потому что мышь весит меньше, чем то, что она несёт в себе страха. Человек весит больше. — Он помолчал. — Человек весит как раз столько, чтобы доза в трёх каплях не убить его, а — изменить.

— Изменить как? — спросил Иона.

— Не в этом работа, — сказал Бертольд. — В этом — цена. Иди.

Иона шёл наверх, по каменным ступеням, и на третьей ступени его накрыла мысль, которая потом будет накрывать его всю жизнь, с разной силой, в разные годы, как волна, о которой забыл: если в печи — то, что убивает мышь на бегу, и то, что «изменяет» человека, — то что варит в печи Бертольд? И для кого?

Ответ был за сорок лет до этого вопроса, в 1276 году, в Париже, где юный Бертольд впервые услышал фразу, которую потом повторил своему ученику Хенриху, а Хенрих — кричал с помоста.

Но это была другая глава. И другим человеком.

#

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. СЧЁТ УГЛЯ

Отец Ансельм получил первое донесение о «запахе под солеварней» через девять дней после того, как этот запах родился, — и заметил его не потому, что был прозорлив, а потому, что был скуп на собственное внимание и потому тратил его только на счёт.

Донесение написал не осведомитель. Донесение написал дьякон приходской церкви Святого Куниберта — старик, записывавший покойников в приходскую книгу, и записал в феврале одного человека слишком много: умерла мышь. Дьякон не имел в виду мышь. Дьякон имел в виду, что за декабрь и январь в приходе умерло одиннадцать душ, а в феврале — только три, и пришёл к Ансельму жаловаться на скуку: книга пустая, писать нечего.

Ансельм выслушал его, поблагодарил за приходские записи, предложил мёду — и ни о чём не спросил. Про мышь он узнал тремя днями позже, из другого источника, к которому у него, кроме дьякона, была и вторая нить: пекарь из квартала за солеварней, человек, чей сын служил в соборной школе и за двух обедов в неделю рассказал падре, что в доме под солеварней, где никто не живёт, уголь возят каждую неделю.

— Каждую? — сказал Ансельм.

— Каждую, — сказал пекарь. — У нас в квартале уголь берут раз в месяц. У них — каждую седмицу. Я думал, там кузница.

— Там нет кузницы, — сказал Ансельм. — Там нет и людей. Кто там живёт?

— Никто. Дом соляного двора. Там раньше хранили соль, потом перестали. Окна забиты.

Пекарь ушёл довольный — он не знал, что дал инквизитору главное число года. Ансельм остался один, в келье доминиканского монастыря возле церкви Святой Цецилии, где он остановился по пути из Трира «для проверки приходских счётных книг» — так звучала бумага, выписанная его преосвященством, — и сел считать.

Он любил считать. В этом не было ничего враждебного вере; Энгельберт фон Тринхайм, научивший его методу, говорил: «Сначала считай, потом молись. Обратный порядок ставит Бога в положение свидетеля, а не судьи». Ансельм не вполне понимал, что Энгельберт имел в виду, но методу следовал строго.

Итак. Дом, в котором никто не живёт. Окна забиты. Кузницы нет. Уголь — каждую седмицу. Кузнец сжигает в неделю четверть телеги — на кузнечный горн уходит примерно столько. Если в доме кузнечный горн — значит, там куют. Если куют — там есть человек. Если есть человек, а не живёт — там работает. Что работает в доме соляного двора, под солеварней, где соль не хранится уже двенадцать лет, с огнём, равным кузнечному, но без дыма, который заметил бы хоть один пекарь, — потому что пекарь, человек, живущий ближе всех к солеварне, сказал «думал, кузница», а не «видел дым»?

Значит, дым есть, но он скрыт. Значит, труба выходит не туда, куда смотрят. Значит, дым уводят в солеваренный ход — в старый отвод к варницам, который закрыли двенадцать лет назад и который никто не проверял с тех пор, потому что проверять закрытое — дело не для приходского дьякона и не для квартального пекаря.

Значит, за двенадцать лет никто не закрыл дверь — все закрыли окно.

Ансельм записал это в свою тетрадь — маленькую, в свинцовых переплётах, такую, что её можно было не спеша сжечь одной спичкой. Записал и прикрыл. Потом помолился. Потом — Энгельберт был бы доволен — снова записал, поверх молитвы, три числа: уголь — седмично, дым — скрытый, мышь — мёртвая.

Мышь он выписал в последний столбец и долго смотрел на это слово.

Мышь сама по себе не значила ничего. Мёртвая мышь — это ветер, сырость, кот соседа. Но мышь, о которой стало известно через девять дней после угольной седмицы, в квартале, где уголь возят раз в месяц, — мышь в этом ряду чисел была четвёртым числом, и она ломала ряд. Уголь и дым могли быть ремеслом. Мышь могла быть только химией.

Ансельм не знал слова «химия». Он знал слово «делание» — и знал, что декретом его святейшества, изданным год назад, делание, претендующее на обращение металлов и на продление жизни, объявлено ересью. Декрет был его работой — не его рукой, но его выучкой: он три года готовил для Иоанна XXII свод донесений по Германскому запросу и знал поимённо сто девятнадцать человек, которые, по его счёту, могли этим деланием заниматься. Шестьдесят три уже были взяты. Пятьдесят шесть оставались.

Хенрих фон Мерлау был шестьдесят четвёртым — он не входил в список, потому что Ансельм не знал о нём до помоста. Это было единственной ошибкой Энгельберта фон Тринхайма за двадцать лет службы, и Ансельм знал, как тяжело старик это носил.

Теперь Ансельм считал заново. Не список — квартал.

Он взял бумагу и выписал все дома северного прихода, где жил пекарь, — по приходской книге, по книгам соляной конторы, по записям о взыскании недоимок, которые он запрашивал у городского совета под предлогом «ревизии десятинных записей». Получилось четырнадцать домов, которые стояли пустыми и всё же что-то потребляли: дрова, воду, уголь. Тринадцать из них потребляли нерегулярно — как и положено пустому дому: раз, потом тишина. Четырнадцатый потреблял седмично.

Дом соляного двора был четырнадцатым.

Ансельм не пошёл к нему. В этом было всё его отличие от энтузиастов, из которых тогдашняя инквизиция состояла на девять десятых. Энтузиаст приходит к дому. Профессионал ждёт, пока дом придёт к нему: пустой дом, который что-то потребляет, рано или поздно пошлёт кого-нибудь за углём в тот же день недели, и угольщик знает имя покупателя, потому что деньги берёт по сходке с того, кто открывает дверь, а не с того, кто живёт.

Ансельм нашёл угольщика в тот же вечер. Угольщика звали Фройлин, и он был торгашом второго разбора — не настолько крупным, чтобы иметь защиту, и не настолько мелким, чтобы его приходилось разыскивать. Ансельм купил у него две меры угля для монастырской кухни — переплатил вдвое, не торгуясь, — и сказал, мимоходом, глядя на весы:

— Ты возишь уголь в квартал за солеварней. К дому соляного двора.

Фройлин не испугался. Это было плохо: значит, у него есть ответ, приготовленный заранее. Значит, дом предупредил его.

— Возишь, — сказал Фройлин. — Это законный товар, господин декан.

— Я не декан, — сказал Ансельм. — Я спрашиваю не о товаре. Кто открывает тебе дверь?

— Старик. Латинник. Платит вперёд, за месяц.

— Как его зовут?

— Не знает никто. Все зовут его по-латыни: магистр.

Ансельм кивнул, как кивают, когда ответ совпал с ожиданием, и сказал, уже расплачиваясь:

— Считай меня своим постоянным покупателем. И считай, что я спрашивал.

Уходя, он подумал, что скупость — единственная роскошь, которую инквизитор может себе позволить: не спрашивать ничего, пока не посчитал всё. Он не знал, что за семь минут до того, как Фройлин запер лавку, мальчишка-подмастерье, сидевший на мешках в углу и подметавший видимо, уже выбежал задней дверью в сторону квартала за солеварней — той самой дорогой, какой уголь возят раз в месяц, а снег в феврале ложится на все следы одинаково, кому бы они ни принадлежали.

Подмастерье доложил о падре с книжечкой в лаборатории в тот же вечер. Тило принял записку, прочитал, сжёг над свечой и опустил пепел в чашу. Бертольд выслушал новость молча, посмотрел на огонь и сказал только:

— Значит, седмица у нас теперь не одна.

Иона не понял. Годфрид понял — и сказал Марте уже утром, за счётами за пергамент:

— Он посчитал нас. Это ещё не беда. Беда будет, когда мы начнём считать в ответ, — потому что тот, кто считает в ответ, меняет ритм, а изменённый ритм — это донесение, которое мы пишем сами.

— Значит, не менять ритм, — сказала Марта.

— Значит, не менять ритм, — согласился Годфрид. — Продолжать возить уголь седмично. Продолжать варить. Продолжать жить по счёту, который он уже выучил. — Он помолчал. — И молиться, брат мой, — не о том, чтобы падре ошибся в счёте. Такие не ошибаются. Молиться о том, чтобы он посчитал лишнее.

— А если не посчитает?

— Тогда, — сказал Годфрид, — у нас будет время, которого у Хенриха не было: неделю на то, чтобы уйти. Двенадцать лет назад никто не закрыл дверь — все закрыли окно. С тех пор мы платим за эту ошибку двойным углём и сном в подвале. Но у нас есть то, чего не было у Хенриха: мы знаем, что за нами идут, за девять дней до того, как они придут.

Марта посмотрела на него долго.

— Ты сказал «мы», — сказала она. — До прошлой зимы ты говорил «они». Я запомнила, Годфрид. Такие вещи запоминаются.

Годфрид не ответил. Он поправил очки — те самые, которых в этом веке ещё не придумали, — и вернулся к счётам за пергамент, потому что счёт — единственный разговор, который не записывают в протокол.

А в тот же час, на другом конце города, Ансельм сидел над своей свинцовой тетрадью и добавлял к трём числам четвёртое, выведенное из слов Фройлина: «магистр». Он не знал, что означает это слово, но знал, что оно не обычное: так не зовут ни ремесленников, ни лавочников, ни клириков приходского разбора. Так звали в списках, лежавших в Трире, восемь человек — и у четырёх из восьми в графе «место» стоял прочерк, а в графе «примечание» — одно и то же слово, написанное рукой Энгельберта: «Кёльн. Под землёй».

Ансельм закрыл тетрадь. Он решил не докладывать в Трир до конца месяца — до той недели, когда уголь должен был пойти четвёртый раз подряд.

Он не хотел донести о доме. Он хотел донести о системе. А для системы нужны были не слухи — числа.

# #
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПЯТЫЙ

Бертольд собрал всех в ночь на Сретение — не по счёту псалмов, а раньше: они вошли в лабораторию, когда псалом ещё не должны были начаться, и это уже было объявлением. Собрания без службы не бывало. Собрание без службы — это суд или исповедь.

Тило стоял у стены, Годфрид сидел с Книгой Псалмов на коленях — закрытой, — Марта стояла у печи, Иона — у двери, куда его ставили всегда: не из недоверия, а из хозяйственного порядка. Кто-то должен был услышать, если на улице появится шаг, не совпадающий с шагом угольщика.

Бертольд дождался тишины. Потом сказал:

— Я буду говорить два часа. Мне не разрешают говорить два часа — знание здесь разделено, и это правильно, потому что знание, которое у всех сразу, — это знание, которое выйдет со всеми сразу. Но сегодня я нарушу порядок, потому что один из нас нарушил его раньше меня.

Он посмотрел на Иону. Все посмотрели на Иону.

— Мыши, — сказал Бертольд. — Он принёс их не мне. Он пошёл сначала к Годфриду, потом к Марте, потом ко мне — и каждый сказал ему что-то, и никто не сказал правды. Годфрид сказал ему «доблесть». Марта сказала ему «спасибо». Я сказал ему про цену. Все три слова — правда, и ни одно из них — не правда. Правда была в другом, и я её не сказал, потому что не должен был. Сегодня скажу. Всем. Потому что комната, в которой один знает цену, а остальные считают капли, — это комната, которая предаст сама себя.

Он подождал, пока это дойдёт до каждого.

— Печь варит не для нас, — сказал Бертольд.

Марта не пошевелилась. Годфрид перестал дышать — Иона видел это по тому, как перестала подниматься его ряска.

— Вы считали, что мы варим эликсир, чтобы пить его. Пятерым — по капле, и пять человек не умрут. Это было бы равенством. Это было бы братством. Это было бы логично, — Бертольд помолчал. — Но печь варит в три раза больше, чем нужно пятерым. Вы это знали все — Марта считала ртуть, Годфрид считал пергамент, Тило копировал рецепты, в которых стояли объёмы. И все считали, что магистр стар и разучился считать. Магистр не разучился. Излишек — это работа. Печь варит для пятого.

— Пятого не существует, — сказал Годфрид.

— Пятый существует. Пятый платит за уголь, за ртуть, за пергамент, за дом, который двенадцать лет числится пустым и который никто не выкупил у соляной конторы, хотя цена ему — два гульдена и обед. Пятый не приходит и не видит никогда ничего. Пятый — тот, кто будет пить, — сказал Бертольд. — Печь варит для человека, которого никто из вас не видел, и это человек, у которого есть имя в Трире, подпись в списках и охрана, о которой мы не знаем. Я принял его деньги девять лет назад, когда мы были на грани голода и Хенрих ещё был жив. Один заказ. Одна варка. Я думал: сделаю — и уйду. Я сделал. Хенрих сделал то же самое, только его заказчик был мельче и жаднее, и Хенрих не выдержал — пошёл показывать прут на площадь, чтобы потребовать свою долю. Хенрих умер от того, что захотел получить оплату.

Теперь молчала вся комната.

— Значит, — сказал Годфрид медленно, как человек, который заходит в воду и хочет узнать температуру ногой, — мы варим бессмертие для неизвестного человека. Девять лет. И что получает он за свои деньги?

— Три капли, — сказал Бертольд. — Когда всё будет готово. И мы получим по три капли — за молчание и за руки. Это был договор. Он написан — Тило переписал его дважды, один экземпляр у пятого.

— А если пятый не захочет платить нам каплями? — сказала Марта. Голос у неё был ровный. — Если он захочет, чтобы капли были у него одни, а мы были костром?

— Тогда, — сказал Бертольд, — мы умрём как Хенрих. И это — вторая половина правды, которую я вам должен. Хенрих умер не от инквизиции. Хенрих умер от того, что его пятый продал его. Ансельм не выследил Хенриха — ему принесли имя. Принесли за деньги, которые Хенрих выторговал себе у заказчика за показ. Заказчик купил у Хенриха прут и склянку — и отдал Хенриха падре в тот же день. Склянка исчезла с помоста не чудом: её забрал человек заказчика. Она сейчас у пятого, в его подвале, и он держит её как первый взнос. Понимаете? Мы уже девять лет работаем не ради себя. Мы — инструмент. И этот инструмент сегодня впервые заскрипел — потому что у инструмента появились глаза. — Он кивнул на Иону. — У тебя.

Иона не знал, что сказать. Он сказал единственное, что было в нём честного:

— Мыши были слабые.

— Мыши были сильные, — сказал Бертольд почти нежно. — Все мыши сильные. Слабые не живут в подвале.

Годфрид открыл было рот — и закрыл. Потом открыл снова:

— Почему ты говоришь это сегодня? Ты держал это девять лет. Что случилось этой седмицы?

Бертольд посмотрел на печь. Потом на каждого по очереди. Потом сказал:

— Случилось число. Ансельм купил две меры угля и спросил имя. Через день Фройлин заговорил с нами ровно — ровнее, чем обычно, а ровнее — это уже предупреждение. Через два дня из лавки выбежал подмастерье и понёс к нам записку — то есть понёс не к нам, а от того, кто дал ему два пфеннига. Вы знаете всё это. А вот чего вы не знаете: в ту же ночь я открыл сундук, в котором лежит склянка Хенриха, — мой экземпляр, тот, что я держал девять лет как залог, — и нашёл в сундуке бумагу. Бумагу, которой там не было. На бумаге — рука Тило.

Все обернулись к переписчику. Тило не отнял лица от стены — только пальцы его сжались на рукаве.

— И что было в бумаге? — спросил Годфрид тихо.

— Расчёт, — сказал Бертольд. — Числа. Сколько угля мы сожгли за девять лет, сколько ртути купила Марта, сколько гульденов прошло через Годфрида. И внизу, рукой, которую я не знаю, — одна строка: «Он считает вас. Продолжайте. Он не донесёт». — Бертольд помолчал. — Я не знаю, кто её положил. Я знаю только, что это сделал не Тило — рука подделана под его руку, и подделана хорошо, но слишком хорошо: Тило в нижнем росчерке ставит двойной нажим, здесь его нет. Кто-то в этой комнате умеет писать рукой Тило. Или кто-то входил в комнату, в которую нельзя войти, и выходил из неё, оставив то, что спасает нас от страха и держит нас в месте.

— Может, это правда от пятого, — сказала Марта.

— Может, это правда от инквизиции, — сказал Годфрид.

— Может, — сказал Бертольд. — Обе правды смертельны. Если бумага от пятого — он смотрит на нас изнутри, и наш дом открыт. Если от инквизиции — Ансельм умеет не только считать, но и писать, и наш дом открыт тоже. Я говорю вам это сегодня не потому, что нашёл ответ. Я говорю это, потому что сегодня ночь Сретения — ночь, когда приносят в храм для посвящения, и я хочу принести правду. Правда у нас теперь одна: мы не семья. Мы — мастерская, в которой есть чужая рука. И пока мы не найдём её, никто из нас не сделает ни шагу, который не был бы просчитан заранее.

— А Иона? — спросила Марта.

— Что — Иона?

— Он у нас четыре месяца. Он принёс мышей. Он ходит наверх, где люди, у него есть долг, который сгорел слишком легко, и лицо, которое не умеет лгать. Если в этой комнате есть чужая рука, — Марта посмотрела на него без ненависти, как смотрят на погоду, — у неё молодое лицо.

Иона не отвёл взгляда. Он сказал:

— Я не писал.

— Я знаю, — сказал Бертольд. — У тебя рука дрожит, когда ты врёшь. Ты врал два раза за четыре месяца, и оба раза я видел. Ты не писал.

— Откуда ты знаешь про два раза?

— Ты ещё спрашиваешь, — впервые за вечер улыбнулся Бертольд — и это было хуже, чем если бы он ударил. — Один раз — бутылка рейнского, которая сделала тебе восемь гульденов долга. Второй — мыши, которые сделали тебе имя в этой комнате. Впредь, брат Иона, ври глазами. Руками врать — это ремесло Тило, и оно занято.

Тило вдруг поднял голову. И положил на стол полоску бумаги — свернутую трубочкой, как всегда. Годфрид развернул её, прочёл и побледнел так, что это было видно при свече.

— Прочти вслух, — сказала Марта.

И Годфрид прочёл. Голос его дрогнул на третьем слове:

— «Я не писал той бумаги. Но я знаю, кто мог. Спросите, кто в этой комнате умеет писать левой рукой так же, как правой. Ответ — за печью. В третьем ряду. Под слоем извести».

Все смотрели на печь. Печь дышала ровным красным — неподвижно, без дрожи, как дышала всегда.

— За печью нельзя, — сказала Марта. — Стена за печью — стена солеварни. Там соль.

— В третьем ряду, — повторил Бертольд тихо. — В третьем ряду у меня пузыри с флегмой. Я ставил их туда двенадцать лет назад, когда входил в этот дом, — я думал, я прячу. Я ставил их не я.

Он снял рукавицу. Он подошёл к печи — тот самый жест, которым неделю назад он вёл ладонью над жаром, — и на этот раз положил руку не над печью, а за неё, в щель между глиной и камнем, где пыль.

И достал оттуда небольшой свёрток, перевязанный суровой ниткой.

Он не стал его разворачивать при всех. Он сказал только — и это была последняя фраза собрания, которая закончилась тогда, когда лучина уже догорала:

— Завтра, до вечерни, каждый скажет мне на ухо одно слово. Любое. Я знаю почерк каждого из вас лучше, чем вы знаете свои лица. — Он посмотрел на свёрток в своей руке. — А это я вскрою один. Если там окажется имя — я скажу его сам, и это будет последняя служба, которую мы проведём в этом доме. Если там не окажется имени… — он поднял глаза, и в них было то, чего Иона не видел у него ни разу за четыре месяца: страх, — то значит, в этом доме есть шестая рука, которую не знает даже тот, кто её послал.

Утром Иона стоял у двери на своём посту и думал о том, какое слово сказать старику на ухо.

Он выбрал «истина».

#

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СТАРЫЕ ЛЮДИ ОДНОЙ ЗИМЫ

Ансельм начал с мёртвых — потому что мёртвые не лгут.

Это была его старая привычка, и он знал ей цену. В Трире, в архиве, где он просидел одиннадцать лет, над дверью висела выцветшая надпись на латыни, и в ней говорилось, что смертные книги не врут, потому что смерть не сдаёт отчёт дважды. Ансельм не доверял этой надписи — он был слишком хорошим счётчиком, чтобы верить вывескам, — но работал по ней: книги покойников действительно врали реже всех прочих бумаг, потому что их писали не для начальства, а для памяти, и на памяти экономить не принято.

Он запросил у прихода Святого Куниберта книги за последние семь лет — под тем же предлогом «ревизии десятинных записей», под которым брал всё. Дьякон принёс четыре тетради в свинцовой застёжке, сел напротив и приготовился скучать: падре будет читать имена, дьякон будет поддакивать. Через час дьякон перестал скучать.

— Что вы ищете, господин падре? — спросил он. — Может, я помогу. Я помню наизусть всю книгу за последние годы, у меня память на душ, а не на числа.

— На души и на числа, — сказал Ансельм. — Это одно и то же, если считать честно. Скажи мне лучше вот что: пять лет назад, зимой, — я хочу узнать, сколько стариков умерло в квартале за солеварней.

— Зимой все старики умирают, — сказал дьякон.

— Не все. Сколько?

Дьякон закрыл глаза — так закрывают, когда перебирают не числа, а лица.

— Зимой по юлианскому счёту… — он шевелил губами. — Двенадцать. Ну, двенадцать или одиннадцать, я помню, что хоронили часто, чаще, чем обычно, и было это в великую стужу, от которой трескались колодцы.

— За какую зиму?

— За… — дьякон открыл глаза. — Пять лет назад. Сейчас я скажу точно. Была зима, когда волки заходили в предместье. Вы помните?

Ансельм помнил. Волки вошли в предместье Кёльна в феврале — об этом писали все хронисты, потому что стая, у которой нет страха перед городом, — это примета, о которой говорят летописцы. Он ничего не сказал дьякону. Он взял тетрадь за тот год и начал читать.

Читал он медленно, как читают счётные книги: не глазами, а пальцем. Имена, возраст, причина, день, приходский сбор. На двадцать третьем имени он остановился.

«Иоганн, соляной возчик, отстал от дел, 74 года, умер во сне». Обычная запись. Обычная зимняя смерть.

На тридцать первом: «Генрих, сторож, 71 год, умер во сне».

На сорок четвёртом: «Маргарета, вдова, 79 лет, умерла во сне».

Три «во сне» за одну зиму — это было уже не редкость, а закономерность, и Ансельм знал, что у закономерности есть имя. Он дочитал книгу до конца. «Во сне» за ту зиму он нашёл одиннадцать раз.

Одиннадцать стариков, умерших во сне, за четыре месяца. В среднем по этому приходу во сне умирали трое-четверо в год — Ансельм считал по другим книгам, которые уже лежали у него раскрытыми.

Он положил тетрадь и долго смотрел на неё. Потом взял чистый лист и начал выписывать имена. Одиннадцать имён. Возраст: от 68 до 81. Смерть: во сне, все одиннадцать. Все — из квартала за солеварней. Все — за одну зиму.

К старикам, умершим во сне, у инквизиции не было претензий: смерть во сне — это милосердие Господне, о ней молятся. Но у Ансельма претензий не было ни к чему — у него были вопросы, и первый вопрос звучал так: кто умирает во сне?

Ответ был таким: умирает тот, кто хочет умереть во сне, — или тот, кому помогли.

Ансельм не думал, что он открыл убийство. Он был слишком опытен, чтобы думать так. Он думал о другом — о задаче, которую сначала надо было поставить правильно, а решать потом. Задача была такой: старики не умирают во сне по одиннадцать за зиму. Значит, либо была зима особенная, либо смерть была особенная. Зима была действительно студёная — но студёные зимы в Кёльне бывали каждые семь-восемь лет, и ни в одной другой зиме за семь лет «во сне» не стояло больше четырёх раз.

Значит, смерть была особенная. Значит, кто-то в квартале за солеварней умерщвлял стариков — аккуратно, во сне, по одному, без крови, без крика, без огласки.

Или кто-то их спасал. — и это была вторая мысль, которая пришла к Ансельму уже после первой, и которая была хуже первой.

Потому что спасать стариков во сне — это то, что умеет только тот, кто умеет убивать во сне. Одно и то же умение. Две разные совести.

Ансельм не был рождён инквизитором. Он стал им в тот год, когда его сестре было пятнадцать.

Это была не история, которую он рассказывал. Даже Энгельберт не знал её до конца — а Энгельберт знал всё.

Родился Ансельм в Ахене, в семье писца при капитуле, и был младшим из четырёх детей, из которых трое дожили до крещения. Семья жила на жалованье отца и на огороде, и в ней не было ни скудости, ни достатка — было то ровное посредственное, на котором человек замечает только то, что теряет. А потеряли они в 1287 году: умерла мать, и отец женился снова, и вторая жена родила дочь — Агнес, — которую Ансельм полюбил так, как любят не детей, а невозможность.

Ей было пять, когда он уехал в Трир, девять, когда он принял сан, пятнадцать, когда в Ахене пришла чума и в доме, где он был крещён, за три недели умерли семеро. Он добирался до Ахена восемь дней. Он приехал на девятый. Ему показали три свежие могилы и объяснили, что Агнес умерла на четвёртый день, легко, во сне, что она даже не проснулась, что это милосердие Господне и что плакать надо о тех, кто умер в огне и в судорогах, а об Агнес — радоваться.

Ансельм не заплакал. Он пошёл к горшечнику, который его знал, и спросил про последнюю зиму. Горшечник сказал: «Во сне у нас в ту чуму умирали все, кто принимал тёплый настой. Госпожа Марта из-под солеварни ходила по дворам с ним. Она говорила: если суждено — пусть суждено во сне».

Он не запомнил имени. Он запомнил только «из-под солеварни» — и то, что через шесть лет, сидя в Трире над сводом донесений по Германскому запросу, он встретил в списке подозреваемых по Кёльну имя «Марта, вдова пивовара, квартал за солеварней» и вычеркнул его. Вычеркнул не из милосердия — из страха: он не хотел, чтобы дело, которое он ведёт, привело его в дом, где умерла Агнес.

Он так и не вернул её в список. В этом была самая человеческая ошибка его службы — и он не знал, что она человеческая. Он думал, что она милосердная.

Теперь, восемь лет спустя, сидя над книгой покойников, он выписал имя «Маргарета, вдова, 79 лет» и понял, что одиннадцать стариков умерли во сне не потому, что им помогли умереть, — а потому, что им помогли не умереть ещё тогда, когда смерть была бы милосердием. Кто-то в этом квартале умел держать смерть за руку. Кто-то ходил по дворам.

Ансельм не знал — и это было главное — что то же самое слово, «солеварня», звучало в его собственной голове как доказательство, а в Кёльне как приговор. Марта ходила по дворам с тёплым настоем — настоем, который она варила не из злых трав, а из добрых: снотворного

зелья, которое убирает страх у тех, кто умирает. Она делала это и до кружка, и во время кружка — потому что была вдовой пивовара и потому что в подвале под солеварней был печной ход, в котором всегда было тепло, и к ней приходили старики погреться и сказать то, что им не с кем было сказать, и она слушала, потому что умела.

Одиннадцать стариков умерли во сне за одну зиму, потому что Бертольд в ту зиму варил первую серию «масла» и разбрасывал по округе пробные склянки — не для продажи, для проверки: посмотреть, кто что говорит. Четыре склянки вышли чистыми, семь — нет. Семь стариков умерли. Остальные четыре умерли бы так же, во сне, от старости, но и их вписали в общий счёт — по незнанию, по традиции, по милосердию, которое не различает.

У Ансельма был одиннадцать имён и одна гипотеза. У него не было ни одного свидетеля, ни одной улики, ни одной причины идти в квартал за солеварней с ордером — потому что ордер на то, что старые люди умерли во сне, не выдаёт ни один епископ.

Он понял это к вечеру и сел писать Энгельберту в Трир. Написал четыре строки — как всегда, коротко, потому что длинные письма читают вширь, а короткие — до конца:

«Магистр мой. В квартале за солеварней Кёльна найден дом, который потребляет уголь седмично и в котором никто не живёт. Печь скрытая. В приходской книге за пять лет назад — одиннадцать смертей во сне за одну зиму. Делаю вывод: там работают тем, что убивает во сне, или тем, что спасает во сне. Разницы в умении нет — разница в совести. Прошу разрешения на дело в Кёльне до Пасхи. Ваш А.»

Он запечатал письмо воском — не печатью, свечкой, — и понёс на почтовый двор, где собирались все гонцы на юг.

И по дороге, у кафедрального собора, где строители поднимали новую башню, он остановился. Он стоял и смотрел на башню — на кран, на клети, на людей, которые висели над городом на верёвках и у которых не было ни права на страх, ни права на ошибку, — и думал о том, что справедливость и башня устроены одинаково: их строят долго, с земли, снизу вверх, и всё время по вертикали, и никогда — по горизонтали, потому что по горизонтали строят те, кто не собирается смотреть сверху.

Внизу, на площади, мальчишка лет двенадцати продавал яблоки — и Ансельм купил у него два, за пфенниг, и один съел тут же, потому что с утра не ел, а второй положил в рукав и нёс с собой два дня, потому что забыл про него, — и вспомнил только тогда, когда письмо уже шло на юг и назад поворачивать было нельзя.

Письмо дошло до Трира за одиннадцать дней. Энгельберт прочитал его в один присест, сломав привычку читать по два раза, — потому что первое чтение его напугало, а второе — убедило в том, что напугало правильно.

Он не дал разрешения. Он дал то, что было хуже и лучше разрешения: он дал имя.

На обороте письма, рукою старика, с нажимом там, где у молодых бывает дрожь, было написано:

«В этом квартале живёт магистр, который учился у меня. Он обещал мне в 1309 году, что его работа кончится золотом. Если она кончается не золотом — ты знаешь, что делать. Если кончается золотом — ты знаешь, что делать. Иди к нему сам и скажи ему, что его учитель ещё жив. Это всё, что я могу дать тебе: не приказ, а ключ. Замок — у него. Э.»

Ансельм прочёл это дважды. Потом положил письмо в свинцовую тетрадь — между страницами, где у него лежали записи о трёх делах, закрытых за последние шесть лет, и о трёх делах, открытых, — и сел считать, сколько стоит путь из Кёльна в Трир и обратно, потому что он вдруг решил не посылать никого. Он пойдёт сам. Он скажет старику, что его учитель жив, — и это будет первый раз в жизни, когда Ансельм отдаст человеку не приговор, а весть.

Он не знал, что магистр под солеварней выучился у Энгельберта фон Тринхайма не алхимии — алхимии он выучился у книг, — а умению держать рот закрытым сорок лет, и что в 1309 году обещал старику не золото.

Он обещал ему человеческое.

#

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ДВЕ МЕРЫ УГЛЯ

Ансельм пошёл к дому сам — не с ордером, а с санкцией на уголь.

В этом было всё его мастерство и вся его скупость. Ордер выдаёт епископ, и епископ спрашивает потом, что нашлось за дверью; санкция на уголь выдаёт никто, и спросить за неё некому. Он надевал не рясу доминиканца — рясу снял и оставил в келье, — а дорожное платье францисканского прокуратора из Майнца: серое, поношенное, с сумой и с посохом. Прокураторы ездили по городам за сбором белья для бедных церквей, никто их не проверял и все их знали: безопасный человек, нищий по должности, безликий по одежде.

Он не дошёл до дома пешком — дошёл телегой Фройлина, потому что Фройлин теперь был «его постоянным покупателем», и постоянный покупатель имеет право на услуги. Две меры угля, заплатил Ансельм, чтобы поднять их самому: во-первых, платил за них он и никто другой, во-вторых, подъезжающий к дому человек видит то, чего не видит стоящий у стены, — укладку крыши, вывоз нечистот, где ломается ставень, кто ходит на расстоянии глаза.

Фройлин остановил телегу на углу, у колодца.

— Дальше не повезу, — сказал он. — Дальше дорога к соляному двору, там камни.

— Не надо, — сказал Ансельм. — Оставь меня с углём. Я сам.

Фройлин посмотрел на него так, как смотрит человек, которого месяц назад купили за переплаченные гульдены и который до сих пор не понял, кто купил: за инквизицию или за что-то третье, о чём не спрашивают.

— Двойная плата, — сказал он.

— Половина, — сказал Ансельм. — За услугу ты уже взял вдвое, я считал.

Он взял обе меры угля — по сорок фунтов каждая, восемьдесят фунтов на двух плечах старика, который не жалуется, потому что жалоба — это число, которое видят, — и пошёл по дороге к соляному двору пешком.

Дорога была длинной и шла мимо забитых окон. Ансельм читал дом, как читают книгу: не страницу, а корешок.

Корешок говорил такое. Крыша цела, но водосточный жёлоб поставлен заново — год-два назад, потому что доска была ещё не серая. Значит, внутри кто-то заботился о том, чтобы вода не проникала в подвальный свод, — а воду боятся те, кто держит под сводом огонь. Ставень третьего окна сломан, но снаружи починен грубо, большими гвоздями: чинил не плотник, чинил тот, кто живёт внутри и не хочет звать чужих рук. Вывоз нечистот: у лунки в земле — свежая засыпанность, две недели. Яма не выкопана заново — старая, от прежних жильцов, но ею пользуются, значит, в доме есть люди, и люди эти экономят на всём, что оставляет след на стороне, и тратятся только на то, что не видно: на уголь, на жёлоб, на гвозди.

Люди, которые прячут не себя, а работу. Это была новая мысль, и Ансельм её записал — не в тетрадь, в голову: тайна, которую прячут целиком, кончается сразу; тайна, которую прячут по частям, — кончается той частью, за которую цепляется счёт.

Дверь он не стучал. Он встал у стены и постучал в оттиск — в то место, где сквозняк из щели качал солому у порога, — трижды, пауза, дважды.

Это он знал от Фройлина, который знал от своего мальчишки, который подметал у угольщика и видел угольщика издали. Цифра шла к дому пятый год, и дом отвечал на неё так, как отвечает на неё любой заказчик: открытая дверь.

Дверь открылась. Не сразу — за ней ждали и смотрели в щель, Ансельм слышал дыхание. Потом дверь открылась вся, и в проёме стоял молодой человек.

Он был молод, худ, с руками растрёпанного угольщика и лицом, которое не умеет лгать — Ансельм увидел это лицо и понял его за один взгляд, как понимают написанное детским почерком: прочесть легко, потому что владелец ещё не выучил каллиграфии лжи.

— Уголь, — сказал Ансельм и поставил первую меру на порог.

— Мы не заказывали.

— Я знаю, — сказал Ансельм. — Это не ваш заказ. Это мой уголь. Мне сказали, что здесь платят за хранение по сходке, и я принёс то, что обещал, и хочу получить то, что мне обещали, — голос у него был прокураторский, усталый и торгашеский, — две меры хранить до Троицы. Пять пфеннигов за седмицу. Мне говорили, у вас сухо и никто не ходит.

Иона не двигался. Он смотрел на человека в сером платье с сумой и с посохом и не мог понять, почему у него не сходится счёт: лицо было знакомое — он видел его неделю, как видят соседей, — а вспомнить не мог. Так бывает с людьми, которых встречали у колодца, на телеге, в очереди за хлебом: мир полон людей, которых мы видели и не помним.

— Подожди, — сказал Иона и оставил его на пороге.

Он вернулся не через минуту, а через две, — и Ансельм за эти две минуты узнал про дом то, чего не узнал бы ни за месяц наблюдений: в глубине подвального хода горела лампа и голос — старый, глухой, опущенный, — говорил кому-то: «…не открывать. Пусть стоит. Спроси, у кого хранит». Значит, Фройлин сказал правду, значит, хранение угля — существующая услуга, значит, у дома есть счётная книга, в которой эта услуга записана, — потому что дом, который отказывается от законного гульдена, потому что не готов к нему, — это дом, у которого всё готово, кроме сегоднешнего дня.

— Хранить можно, — сказал Иона. — Пять пфеннигов за седмицу, до Троицы. Оставляй у стены. Плату — вперёд.

— Вперёд, — согласился Ансельм, отсчитал пфенниги и — впервые сделав то, что не было задумано, а родилось из усталости: он всю дорогу нёс восемьдесят фунтов, у него болела поясница, — спросил: — У вас не найдётся глотка воды? Я стар для дороги.

Это был не расчёт. Это была правда. И потому Иона, который за четыре месяца в лаборатории выучился всему, кроме того, что правда на пороге не даёт справок, сказал:

— Стой тут.

Он ушёл за водой, и в глубине хода голос поднялся на тон и стих. Иона принёс кружку — деревянную, обожжённую, — а Ансельм, взяв её, сделал то, что делал с кружками всю жизнь, и делал так плохо, что никто не замечал: перевернул её, проверил дно, понюхал. У кружки на дне был запах красного — тот самый, «палёный хлеб и кровь из носа».

Ансельм узнал запах. Он не узнал его раньше — потому что раньше его не чувствовал. Теперь почувствовал, и внутри него, в том месте, где лежат накопленные за одиннадцать лет архивов листки, сработало то, что срабатывает у профессионалов, когда смысл складывается быстрее слова: запах из дома, запах из-под солеварни, запах, который старик-дьякон одиннадцать лет назад, ещё при Хенрихе, описывал в донесении, которое Ансельм читал в Трире и не понял.

Он был там, в Трире, мальчиком двадцати лет, и не понимал. Теперь стоял на пороге, в шестьдесят с лишним фунтов, с кружкой в руках, и понимал.

— Хорошая вода, — сказал он. — Питьевая. Откуда?

— От колодца, — сказал Иона.

— У вас на квартале три колодца, — сказал Ансельм без предупреждения, потому что счёт должен был идти, пока идёт голос. — Один у солеварни — солёный, второй за синагогой — мутный, третий у церковного двора — тот, который мне продали за пфенниг. У тебя вода из третьего.

— Что ты говоришь? — спросил Иона.

— Что колодцы не лгут, — сказал Ансельм. — И что ты, друг, — он вернул кружку, — слишком добр для своего дома. Такого не бывает в кварталах, где платят за хранение по сходке. Такого не бывает, если дом честный. — Он поднял посох. — Прощай. Троицы жду.

Он ушёл — тяжело, на двух ногах, как уходят старики, — и за углом оставил уголь, потому что его дом был в другом конце города, а уголь лежал у стены соляного двора и уже числился в чужой книге как плата.

А в лаборатории, за три поворота хода, Бертольд сказал Ионе:

— Ты понял, что произошло?

— Дал ему воды, — сказал Иона. — Сорок лет.

— Ты дал ему запах, — сказал Бертольд. — Кружка — та, которой я разводил пробную серию. Ту, из семи стариков. Ты не вымыл её.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.